Обезьяна и сущность

Автор:
Олдос Хаксли

Обезьяна и сущность

Олдос Леонард Хаксли

Эксклюзивная классика (АСТ)

«Обезьяна и сущность» (1948) – одно из самых известных произведений Олдоса Хаксли наряду с романом «О дивный новый мир».

Фантастическая антиутопия, своеобразное предупреждение писателя о грядущей ядерной катастрофе, которая сотрет почти все с лица земли, а на обломках былой цивилизации выжившие будут пытаться построить новое общество. Но ничего хорошего это новое общество не принесет: тотальный контроль Церкви над всей жизнью людей, запрет на любовь, на страсть и, как следствие, совершенно извращенные отношения между людьми. А поклоняться новое общество будет не Богу, а Дьяволу по имени Велиал.

Повесть «Обезьяна и сущность» как никогда актуальна. И кто знает, не сбудутся ли на самом деле пророчества Хаксли через 100 лет?

Олдос Хаксли

Обезьяна и сущность

© Aldous Huxley, 1948

© Перевод. И. Г. Русецкий, наследники, 2016

© AST Publishers, 2016

* * *

I

Тэллис

В этот день был убит Ганди, однако на холме Кэлвери гуляющих гораздо больше занимало содержимое корзин со съестным, нежели значение в общем-то заурядного события, свидетелями которого они оказались. Что бы ни утверждали астрономы, Птолемей был совершенно прав: центр Вселенной находится здесь, а не где-то там. Пусть Ганди мертв, но и за письменным столом у себя в кабинете, и за столиком в студийном кафе Боб Бриггз умел говорить только о себе.

– Ты всегда мне помогал, – заверил меня Боб, приготовившись не без удовольствия поведать очередную главу своей биографии.

В сущности, я прекрасно знал – а сам Боб и подавно, – что на самом-то деле никакая помощь ему не нужна. Он любил попадать в переплет; более того, любил поплакаться о своих затруднениях. Как сами неприятности, так и несколько драматизированное их изложение позволяли ему почувствовать себя всеми поэтами-романтиками, вместе взятыми: покончившим с собой Беддоузом, состоявшим во внебрачной связи Байроном, Китсом, зачахшим из-за Фанни Брон, Гарриет, погибшей из-за Шелли. А чувствуя себя всеми поэтами-романтиками сразу, Боб мог хотя бы ненадолго позабыть о двух главных причинах своих невзгод: о том, что он был начисто лишен их таланта и – почти начисто – их сексуальности.

– Мы дошли до точки, – сказал Боб (трагизм, с которым он произнес эти слова, навел меня на мысль, что актер из него вышел бы гораздо более сильный, чем киносценарист), – мы с Элейн дошли до точки и почувствовали себя, словно… словно Мартин Лютер.

– Мартин Лютер? – с некоторым удивлением переспросил я.

– Знаешь: ich kann nicht anders[1 - Иначе я не могу (нем.). – Здесь и далее примеч. пер.]. Мы не могли, просто не могли ничего больше сделать, кроме как отправиться в Акапулько.

А Ганди, подумал я, не оставалось ничего, кроме как пассивно противиться угнетению, отправиться в тюрьму и в конце концов дать себя застрелить.

– Итак, мы сели в самолет и улетели в Акапулько, – продолжал Боб.

– Наконец-то!

– Что ты хочешь этим сказать?

– Но ты ведь уже давненько об этом подумывал, верно?

Боб недовольно поморщился. Мне же вспомнились все наши предыдущие разговоры на эту тему. Следует ли ему сделать Элейн своей любовницей или нет? (Он ставил вопрос в этакой очаровательной старомодной манере.) Следует ему просить у Мириам развода или нет?

Речь шла о разводе с женщиной, которая до сих пор в самом прямом смысле оставалась для него тем, чем была всегда – его единственной любовью; однако в другом, но тоже не менее прямом смысле его единственной любовью была Элейн; причем она стала бы таковой в еще большей степени, решись он наконец (а именно поэтому он и не мог решиться) «сделать ее своей любовницей». Быть или не быть – этот монолог длился уже почти два года и затянулся бы еще лет на десять, будь у Боба возможность гнуть свою линию и дальше. Боб любил, чтобы его затяжные и по преимуществу мнимые неприятности не приобретали нестерпимо плотского оттенка, который мог подвергнуть его сомнительную мужественность очередному унизительному испытанию. Хотя Элейн и находилась под впечатлением красноречия своего поклонника, а также его барочного профиля и ранней седины, ее, по-видимому, все же утомили эти нескончаемые, но исключительно платонические неприятности. Бобу был поставлен ультиматум: или Акапулько, или полный разрыв.

Словом, он был осужден на нарушение супружеской верности так же бесповоротно, как Ганди на пассивность, тюрьму и смерть, но, судя по всему, опасения Боба были глубже, сильнее и в ходе событий вполне подтвердились. Хотя бедолага Боб и не рассказал мне о том, что произошло в Акапулько, однако история получилась явно трогательная и нелепая – об этом красноречиво свидетельствовало то обстоятельство, что Элейн, по словам Боба, «ведет себя странно» и ее уже несколько раз видели в обществе омерзительного молдавского боярина, имя которого я, к счастью, позабыл. Мириам же не ограничилась тем, что не дала Бобу развода: воспользовавшись отсутствием супруга, а также его доверенностью, она перевела на свое имя ранчо, два автомобиля, четыре многоквартирных дома, несколько весьма выгодно расположенных участков земли в Палм-Спрингсе, равно как и все его сбережения. А он между тем задолжал правительству тридцать три тысячи долларов подоходного налога. Однако когда Боб попросил у продюсера обещанные двести пятьдесят долларов прибавки к недельному жалованью, последовало долгое, полное скрытого смысла молчание.

– Ну так как же, Лу?

Внушительно цедя слова, Лу Лаблин ответил:

– Боб, сегодня, в этой студии, прибавки не получил бы даже Иисус Христос.

Сказано это было вполне дружеским тоном, но, когда Боб попытался настаивать, Лу треснул кулаком по столу и заявил, что тот ведет себя не по-американски. Это решило дело.

Боб продолжал рассказывать. Какой сюжет для большого религиозного полотна! – подумал я. Христос выпрашивает у Лаблина жалкую прибавку в двести пятьдесят долларов в неделю и получает решительный отказ. Это была бы одна из излюбленных тем Рембрандта: на ее основе он создал бы десятки рисунков, офортов и полотен. Иисус печально удаляется во мрак неуплаченного подоходного налога, а в золотом луче прожектора, сияя драгоценными каменьями и металлическими бликами, Лу в громадном тюрбане торжествующе усмехается тому, как он обошелся с Мужем Скорбей.

Потом я представил себе, как трактовал бы этот сюжет Брейгель. Большая панорама студии: полным ходом идут съемки мюзикла стоимостью в три

миллиона долларов, в котором точно воспроизводятся все мельчайшие детали; две-три тысячи превосходно загримированных актеров; а в нижнем правом углу зритель после долгих поисков обнаруживает наконец Лаблина величиной с кузнечика, глумящегося над еще более тщедушным Иисусом.

– Но у меня была совершенно потрясающая идея сценария, – говорил Боб с тем жизнерадостным воодушевлением, которое для отчаявшегося человека служит альтернативой самоубийству. – Мой агент в восторге: считает, что я смогу продать ее за пятьдесят-шестьдесят тысяч.

И он начал рассказывать.

Все еще размышляя о Христе, стоящем перед Лаблином, я вообразил, как это написал бы Пьеро: блистательно выверенная композиция, равновесие пустот и тел, гармоничных и контрастных тонов, все фигуры пребывают в несокрушимом покое. На головах у Лу и его ассистентов должны быть головные уборы фараонов в виде громадных перевернутых конусов из белого или цветного фетра, которые в мире Пьеро подчеркивают два обстоятельства – четкую геометрическую природу человеческого тела и причудливость жителей Востока. Несмотря на шелковистую легкость, складки каждого одеяния неизбежны и определенны, словно вырезанные из порфира силлогизмы, а все полотно пронизано присутствием платоновского божества, которое с помощью математики навсегда превращает хаос в упорядоченность и красоту искусства.

Однако от Парфенона и «Тимея» формальная логика приводит к тирании, которая в «Государстве» провозглашена идеальной формой правления. В политике эквивалент теоремы – это армия с безукоризненной дисциплиной, а эквивалент сонета или картины – полицейское государство, находящееся под властью диктатуры. Марксист называет себя «научным», а фашист к этому определению добавляет еще одно: он поэт – научный поэт – новой мифологии. Претензии того и другого вполне оправданны: и тот, и другой в реальной жизни прибегают к приемам, доказавшим свою эффективность в лаборатории или башне из слоновой кости. Они упрощают, отделяют и исключают все, что неприменимо для их целей, и готовы пренебречь чем угодно как несущественным; они навязывают свои способы и подтасовывают факты, чтобы доказывать свои излюбленные гипотезы; они отправляют в мусорную корзину все, чему, по их мнению, недостает совершенства. А поскольку они действуют как подлинные мастера своего дела, как серьезные мыслители и опытные экспериментаторы, тюрьмы переполнены, политические еретики гибнут на

каторге, права и желания простых людей попираются, Ганди погибают насильственной смертью, а миллионы школьных учителей и радиодикторов от восхода до заката твердят о непогрешимости сильных мира сего, которые в данную минуту оказались у власти.

– И в конце концов, – продолжал Боб, – я не вижу причин, почему кино не должно быть произведением искусства. Этот проклятый торгашеский дух…

Он говорил с праведным негодованием посредственного художника, который обрушивается на козла отпущения, выбранного им, чтобы иметь, на кого свалить плачевные последствия собственной бесталанности.

– Как ты думаешь, Ганди интересовался искусством? – спросил я.

– Ганди? Разумеется, нет.

– Пожалуй, ты прав, – согласился я. – Ни искусством, ни наукой. Потому-то мы его и убили.

– Мы?

– Да, мы. Умные, деятельные, вперед смотрящие почитатели порядка и совершенства. А Ганди был просто реакционер, веривший лишь в людей. В маленьких, убогих людишек, которые сами управляют собою в своих деревушках и поклоняются брахману, являющемуся также и атманом. Такого терпеть было нельзя. Неудивительно, что мы его укокошили.

Я говорил и одновременно размышлял, что это еще не все. Еще была непоследовательность, почти измена. Человек, который верил лишь в людей, дал втянуть себя в массовое нечеловеческое безумие национализма, в якобы сверхчеловеческое, а на самом деле дьявольское стремление учредить народное государство. Он дал втянуть себя во все это, воображая, что ему удастся унять безумие и все, что есть в государстве сатанинского, превратить в некое подобие человеческого. Однако национализм и политика силы оказались ему не по зубам. Святой может исцелить наше безумие не из середки, не изнутри, а только снаружи, находясь вне нас. Если он станет деталью машины, одержимой коллективным сумасшествием, случится одно из двух. Он либо останется самим собой, и тогда машина будет какое-то время его использовать, а потом, когда он

сделается бесполезен, выбросит или уничтожит. В противном случае он будет переделан по образу и подобию механизма, с которым и против которого работает, и тогда мы увидим, что святая инквизиция в союзе с каким-нибудь тираном готовит торжество привилегий церкви.

– Так вот, возвращаясь к их торгашескому духу, – проговорил Боб. – Позволь привести тебе пример…

Но я думал о том, что мечта о порядке порождает тиранию, мечта о красоте – чудовищ и насилие. Недаром Афина, покровительница искусств, является также богиней военных наук, божественной начальницей любого генерального штаба. Мы убили Ганди, потому что после короткой (и смертельной) политической игры он отказался от нашей мечты о народном порядке, о социальной и экономической красоте; потому что он попытался напомнить нам о конкретном и всеобъемлющем факте существования реальных людей и внутреннего Света.

Заголовки, которые я видел этим утром в газетах, были иносказательны, они содержали не только сам факт, но и аллегорию и пророчество. Этим символичным актом мы, так стремящиеся к миру, отвергли единственное средство его достижения и предостерегли всех, кому случится в будущем отстаивать иные пути, нежели те, что неизбежно ведут к войне.

– Ладно, если ты допил кофе, то пошли, – сказал Боб.

Мы встали и выбрались на солнце. Боб взял меня за руку и пожал ее.

– Ты очень мне помог, – снова заверил он.

– Хотелось бы надеяться, Боб.

– Но ведь так оно и есть, так и есть.

Быть может, оно действительно так и было: выплеснув свои неприятности перед благожелательным слушателем, он почувствовал себя лучше, как-то приблизился к поэтам-романтикам.

Несколько минут мы молча шли мимо проекционных и домиков администраторов в стиле Чурригеры. На дверях самого большого из них висела внушительная бронзовая табличка с надписью «Лу Лаблин».

– Как насчет прибавки? – поинтересовался я. – Может, зайдем, попробуем еще разок?

Боб скорбно усмехнулся, и снова наступило молчание. Когда он наконец заговорил, голос его звучал задумчиво:

– Бедный старина Ганди! Мне кажется, самым большим его секретом было умение ничего не желать для себя.

– Да, пожалуй, это один из его секретов.

– Боже, как хочется иметь поменьше желаний!

– Мне тоже, – с жаром согласился я.

– Ведь когда наконец получаешь желаемое, всегда оказывается, что это вовсе не то, о чем ты мечтал.

Боб вздохнул и опять замолк. Он явно размышлял об Акапулько, об ужасной необходимости перейти от затяжного к неминуемому, от смутного и показного к слишком уж конкретно плотскому.

Миновав улицу с административными домиками, мы пересекли стоянку для машин и углубились в ущелье между высоченными звуковыми павильонами. Мимо проехал трактор с низким прицепом, на котором стояла нижняя половина западной двери итальянского собора XIII века.

– Это для «Екатерины Сиенской».

– А что это?

– Новый фильм Гедды Бодди. Два года назад я сделал сценарий. Потом его передали Стрейгеру. А после его переписала команда О'Тула – Менендеса –

Богуславского. Мерзость!

Мимо прогрохотал еще один прицеп с верхней половиной соборной двери и кафедрой работы Никколо Пизано.

– Если вдуматься, она в некотором смысле очень похожа на Ганди, – проговорил я.

– Кто? Гедда?

– Нет, Екатерина.

– А, понимаю. Я думал, ты говоришь про набедренную повязку.

– Я говорю о святых в политике, – пояснил я. – С нею, конечно, не расправились, но лишь потому, что она рано умерла. Последствия ее политики просто не успели проявиться. У тебя было все это в сценарии?

Боб покачал головой:

– Слишком грустно. Публика любит, чтобы звездам сопутствовала удача. И потом, разве можно говорить о церковной политике? Получится нечто явно антикатолическое, что может легко превратиться в антиамериканское. Нет, мы не рискуем, а сосредоточиваемся на парне, которому она диктует свои письма. Он без памяти влюблен, но все это очень возвышенно и духовно, а когда она умирает, он уединяется и молится перед ее портретом. Там есть еще другой парень, который на самом деле за ней ухаживал. Она упоминет об этом в письмах. Играется это так, как того заслуживает. Они все еще надеются заполучить Хамфри…

Громкий гудок заставил Боба подпрыгнуть.

– Осторожно!

Боб схватил меня за руку и дернул назад. Из двора позади сценарного отдела на дорогу вылетел двухтонный грузовик.

– Смотреть надо, куда прете! – проезжая мимо нас, заорал водитель.

– Идиот! – огрызнулся Боб и обратился ко мне: – Видел, что он везет? Сценарии. – Он покачал головой. – Их сожгут. Чего они и заслуживают. Литературы тут на миллион долларов.

Он рассмеялся с мелодраматической горечью.

Проехав ярдов двадцать, грузовик резко свернул вправо. По-видимому, скорость была слишком высока: под действием центробежной силы с полдюжины лежавших сверху сценариев высыпалось на дорогу. Словно пленники инквизиции, чудом спасшиеся от костра, подумал я.

– Парень не умеет водить, – проворчал Боб. – В один прекрасный день кого-нибудь задавит.

– Давай-ка посмотрим, кому удалось спастись.

Я поднял ближайший том.

– «Девушка не уступит мужчине», сценарий Альбертины Кребс.

Боб припомнил сценарий. Гадость.

– А что ты скажешь об «Аманде»? – Я перелистал несколько страниц. – Похоже, мюзикл. Стихи какие-то:

Амелия хочет есть,

Но Аманда хочет мужчину…

– Не надо! – не дал мне закончить Боб. – Он стоил четыре с половиной миллиона в период битвы за повышение курса доллара.

Я бросил «Аманду» и поднял еще один раскрывшийся том. Мне бросилось в глаза, что переплет у него зеленый, а не обычный для студии темно-красный.

– «Обезьяна и сущность», – прочел я вслух сделанную от руки надпись на обложке.

– «Обезьяна и сущность»? – несколько удивленно переспросил Боб.

Я перевернул форзац.

– «Новый киносценарий Уильяма Тэллиса, ранчо Коттонвуд, Мурсия, Калифорния». А здесь карандашная приписка: «Уведомление об отклонении послано двадцать шестого ноября сорок седьмого года. Конверт с обратным адресом отсутствует. Сжечь». Последнее слово подчеркнуто дважды.

– Такое добро они получают тысячами, – пояснил Боб.

Я принялся листать сценарий.

– Снова стихи.

– О Господи! – с отвращением воскликнул Боб.

Я начал читать:

Но это ж ясно.

Это знает каждый школьник.

Цель обезьяной выбрана, лишь средства – человеком.

Кормилец Papio[2 - Павиан (лат.).] и бабуинский содержанец,

Несется к нам на все готовый разум.

Он здесь, воняя философией, тиранам славословит;

Здесь, Пруссии клеврет, с общедоступной «Историей»

Гегеля под мышкой,

Здесь, с медициной вместе, готов ввести гормоны

половые от Обезьяньего Царя.

Он здесь, с риторикою вместе: слагает вирши он,

она их следом пишет;

Здесь, с математикою вместе, готов направить все

свои ракеты

На дом сиротский, что за океаном;

Он здесь – уже нацелился, и фимиам курит

благочестиво,

И ждет, что Богородица скомандует: «Огонь!»

Я умолк. Мы с Бобом вопросительно переглянулись.

– Что ты об этом думаешь? – поинтересовался он в конце концов.

Я пожал плечами. Я действительно не знал, что думать.

– Во всяком случае, не выбрасывай, – попросил Боб. – Хочу просмотреть остальное.

Мы двинулись в путь, еще раз завернули за угол и оказались у францисканского монастыря, окруженного пальмами; это и было здание, где размещались сценаристы.

– Тэллис, – пробормотал Боб, когда мы вошли. – Уильям Тэллис… – Он покачал головой. – Никогда о нем не слышал. Кстати, Мурсия – это где?

В следующее воскресенье мы уже знали ответ – не теоретически, из карты, а практически: мы отправились туда на «Бьюике» Боба (точнее, Мириам) со скоростью восемьдесят миль в час. Мурсия, штат Калифорния, представляла собой две красные заправочные колонки и крошечную бакалейную лавчонку на юго-западной оконечности пустыни Мохаве.

Долгая засуха кончилась два дня назад. Небо было все еще затянуто тучами, с запада устойчиво дул холодный ветер. Под шапкой сероватых облаков горы Сан-

Габриэль казались призрачными и белели свежевыпавшим снегом. Однако далеко в пустыне, на севере, сверкала длинная узкая полоса золотого солнца. Вокруг преобладали темно-серые и серебряные, а также бледно-золотые и желтовато-коричневые цвета пустынной растительности – полыни, чертополоха и гречихи; кое-где виднелись раскорячившиеся юкки – у одних стволы были гладкими, у других покрыты высохшими колючками, а концы их изломанных ветвей украшали гроздья шипов зеленоватого металлического оттенка.

Глухой старик, которому нам пришлось кричать в ухо, в конце концов понял, о чем мы его спрашиваем. Ранчо Коттонвуд? Еще бы не знать! Нужно проехать примерно милю на юг по этой грязной дороге, потом повернуть на восток, проехать еще три четверти мили вдоль оросительной канавы – и все. Старик собрался было сообщить нам еще какие-то подробности, но Бобу стало невтерпеж. Он выжал сцепление, и мы уехали.

Вдоль канавы росли посаженные человеческой рукой ивы и тополя, пытавшиеся среди этой суровой пустынной растительности жить другой, более легкой и приятной жизнью. Сейчас они были безлисты – скелеты деревьев, белеющие на фоне неба, но мне ясно виделось, какой сочной будет через три месяца зелень их молодых листьев в лучах палящего солнца.

Слишком быстро ехавшую машину неожиданно тряхнуло на выбоине. Боб чертыхнулся.

– Не понимаю, как нормальный человек мог поселиться в конце такой дороги.

– Вероятно, он просто ездит медленнее, – осмелился предположить я.

Боб не удостоил меня даже взглядом. Машина продолжала грохотать на той же скорости. Я попытался сосредоточиться на пейзаже.

Тем временем пустыня бесшумно, но необычайно стремительно преобразилась. Тучи разогнало, и солнце освещало теперь ближайшие к нам обрывистые и иззубренные холмы, которые неизвестно почему вздымались среди бескрайней равнины, словно острова. Еще минуту назад они были черны и мертвы. Теперь – внезапно ожили; перед ними еще лежала тень, за ними клубилась тьма. Они словно светились сами по себе.

Я тронул Боба за руку и указал на холмы:

– Теперь понимаешь, почему Тэллис поселился в конце этой дороги?

Боб быстро посмотрел в сторону, объехал упавшую юкку, еще раз на долю секунды задержал взгляд на пустыне и снова перевел глаза на дорогу.

– Это напоминает мне одну гравюру Гойи – ты знаешь, о чем я говорю. Женщина едет верхом на жеребце, а тот, повернув голову и захватив зубами край ее платья, старается стащить всадницу с седла или разорвать ее одежду. Она смеется, радуется как сумасшедшая. А на заднем плане – равнина с такими же, как здесь, торчащими холмами. Но если к холмам Гойи присмотреться, то видишь, что это вовсе не холмы, а припавшие к земле животные – наполовину крысы, наполовину ящерицы величиною с гору. Я купил Элейн репродукцию этой гравюры.

Снова наступило молчание, и я подумал, что Элейн не поняла намека. Она позволила жеребцу стащить себя на землю и лежала, безудержно хохоча, а крупные зубы уже рвали ее корсаж, в клочья раздирали юбку, пощипывали нежную кожу; это было страшно и восхитительно – трепет перед неминуемой болью. А потом, в Акапулько, огромные крысы-ящерицы восстали от своего каменного сна, и бедняга Боб внезапно оказался не в окружении прелестных и томных граций или роя смешливых купидонов с розовыми попками, а среди чудовищ.

Тем временем мы добрались до места. За росшими вдоль канавы деревьями, под высоченным тополем стоял белый каркасный дом, по одну сторону которого виднелась ветряная мельница, по другую – амбар из рифленого железа. Ворота были закрыты. Боб остановил машину, и мы вылезли. К столбу ворот была прибита белая доска. На ней красовалась выведенная неумелой рукой ярко-красная надпись:

Пиявки лобзанья, и спрута объятья,

И ласки гориллы, от похоти шалой…

А люди вам нравятся – ваши собратья?

Да нет, пожалуй.

Это про тебя, ступай отсюда.

– Похоже, мы приехали правильно, – заметил я.

Боб кивнул. Мы открыли ворота, прошли по плотно утоптанной земле широкого двора и постучались. Дверь отворилась почти мгновенно: на пороге стояла полная пожилая женщина в очках, одетая в голубое хлопчатобумажное платье в цветочек и видавшую виды красную кофту. Женщина дружелюбно улыбнулась и спросила:

– Сломалась машина?

Мы отрицательно покачали головами, и Боб объяснил, что мы приехали к мистеру Тэллису.

– К мистеру Тэллису?

Улыбка на лице нашей собеседницы увяла; женщина посерьезнела и покачала головой.

– Разве вы не знаете? – спросила она. – Мистер Тэллис оставил нас полтора месяца назад.

– Вы имеете в виду умер?

– Оставил нас, – повторила она и принялась рассказывать.

Мистер Тэллис снял дом на год. Они же с мужем переехали в старую лачугу за амбаром. Правда, уборная там снаружи, но они к этому привыкли, еще когда жили в Северной Дакоте, да и зима, по счастью, выдалась теплая. Во всяком случае, они радовались деньгам – при теперешних-то ценах! – да и мистер Тэллис был очень мил, особенно когда они поняли, что он любит уединение.

– Должно быть, это он повесил объявление на воротах?

Пожилая леди кивнула и объяснила, что это-де такая уловка и что снимать доску она не намерена.

– Он долго болел? – поинтересовался я.

– Совсем не болел, – отозвалась она. – Хотя постоянно твердил про больное сердце.

Из-за него-то мистер Тэллис и оставил этот мир. В ванной. Она нашла его там однажды утром, принеся ему из лавки кварту молока и дюжину яиц. Он был уже холодный как камень. Наверное, пролежал всю ночь. В жизни она не испытывала подобного потрясения. А сколько хлопот потом – никто ведь не знал, есть ли у него где-нибудь родня. Вызвали врача, затем шерифа и, только получив разрешение суда, похоронили беднягу, который к тому времени уже отнюдь не благоухал. А потом его книги, бумаги и одежду сложили в коробки и запечатали, и теперь все это хранится где-то в Лос-Анджелесе – на случай, если объявится наследник. Теперь они с мужем снова перебрались в дом, и она чувствует себя неловко, потому что бедный мистер Тэллис заплатил вперед и мог бы жить здесь еще четыре месяца. Но, с другой стороны, конечно, она рада, потому что пошли дожди, иногда и снег, и уборная в доме, а не во дворе, как когда они жили в лачуге, – большое дело.

Она замолчала и перевела дух. Мы с Бобом переглянулись.

– Раз так, мы, пожалуй, поедем, – сказал я.

Однако пожилая леди и слышать об этом не хотела.

– Зайдите, – принялась настаивать она, – ну зайдите же.

Мы немного помялись, но уступили и прошли вслед за нею через крошечную прихожую в гостиную. В углу горела керосиновая печка; жаркий воздух был насыщен почти осязаемым запахом жареного и пеленок. У окна в качалке сидел похожий на гнома старичок и читал воскресный комикс. Рядом с ним бледная девушка с озабоченным лицом – на вид ей было не больше семнадцати – держала на одной руке младенца, а другой застегивала розовую кофточку. Ребенок срыгнул: в уголках рта у него появились пузырьки молока. Оставив последнюю пуговицу незастегнутой, юная мама нежно утерла надутые губки младенца. Из открытой двери в соседнюю комнату доносилось свежее сопрано, исполнявшее под гитару «И час грядет».

– Это мой муж, мистер Коултон, – объявила пожилая женщина.

– Рад познакомиться, – не отрывая глаз от комикса, проговорил гном.

– А это наша внучка Кейти. Она в прошлом году вышла замуж.

– Вижу, – отозвался Боб. Он поклонился девушке и отпустил ей одну из своих знаменитых обаятельных улыбок. Кейти взглянула на него, словно он был предметом меблировки, застегнула последнюю пуговицу, молча повернулась и полезла по крутой лестнице на верхний этаж.

– А это, – указывая на нас с Бобом, продолжала м-с Коултон, – друзья мистера Тэллиса.

Нам пришлось объяснить, что это не совсем так. Нам известна лишь работа мистера Тэллиса: она нас так заинтересовала, что мы приехали сюда в надежде познакомиться с ними вот узнали трагическую весть о его кончине.

Мистер Коултон поднял взгляд от газеты.

– Шестьдесят шесть, – сказал он. – Ему было всего шестьдесят шесть. А мне – семьдесят два. В октябре исполнилось.

Он торжествующе хихикнул, словно одержал победу, и вернулся к своему Смерчу Гордону – неуязвимому, бессмертному Смерчу, вечно странствующему рыцарю дев, но, увы, не таких, каковы они на самом деле, а таких, какими видятся идеалистам от бюстгальтерного производства.

– Я просмотрел то, что мистер Тэллис прислал к нам на студию, – проговорил Боб.

Гном опять поднял глаза.

– Вы киношник? – осведомился он.

Боб подтвердил.

Музыка в соседней комнате внезапно оборвалась на середине фразы.

– Важная шишка? – спросил мистер Коултон.

С очаровательной напускной скромностью Боб заверил его, что он всего-навсего сценарист, режиссурой балуется лишь от случая к случаю.

Гном медленно покивал:

– Я читал в газете, что Голдвин сказал, будто всем важным шишкам наполовину срежут жалованье.

Его глазки радостно блеснули, и он опять торжествующе хихикнул. Затем, внезапно потеряв интерес к реальности, он вернулся к своим мифам.

Иисус перед Лаблином! Я попытался уйти от болезненной темы, осведомившись у м-с Коултон, знала ли она, что Тэллис интересовался кино. Однако пока я задавал этот вопрос, ее внимание привлекли шаги в соседней комнате.

Я обернулся. В дверях, одетая в черный свитер и клетчатую юбку, стояла – кто? Леди Гамильтон в 16 лет, Нинон де Ланкло того периода, когда Колиньи лишил ее девственности, la petite Морфиль[3 - Крошка Морфиль (фр.).], Анна Каренина в классной комнате.

– Это Рози, – гордо объявила м-с Коултон, – наша вторая внучка. Рози учится пению, хочет стать киноактрисой, – доверительно сообщила она Бобу.

– Как интересно! – с энтузиазмом воскликнул Боб, поднявшись и пожимая руку будущей леди Гамильтон.

– Может, вы что-нибудь ей посоветуете? – предложила любящая бабка.

– Буду счастлив.

– Принеси еще стул, Рози.

Девушка вскинула ресницы и бросила на Боба короткий, но внимательный взгляд.

– Не возражаете, если мы посидим на кухне? – спросила она.

– Ну разумеется, нет!

Они скрылись в глубине дома. Глянув в окно, я увидел, что холмы снова в тени. Крысы-ящерицы закрыли глаза и притворились мертвыми – но только чтобы усыпить бдительность жертвы.

– Это больше чем удача, – говорила м-с Коултон, – это перст провидения! Как раз когда Рози нужна поддержка, появляется важная шишка из кино.

– Как раз когда кино вот-вот прогорит, как и эстрада, – не поднимая глаз от страницы, вмешался гном.

– Почему ты так говоришь?

– Это не я, это Голдвин, – ответил старик.

Из кухни донесся смех, на удивление младенческий. Боб явно делал успехи. Я почувствовал приближение второй поездки в Акапулько – с последствиями, еще более катастрофическими, чем после первой.

Бесхитростная сводница м-с Коултон радостно улыбнулась.

– Мне нравится ваш приятель, – сказала она. – Умеет обращаться с детьми. Никакого дешевого форса.

Я молча проглотил скрытый укор и опять спросил, знает ли она, что мистер Тэллис интересовался кино.

Она кивнула. Да, он говорил ей, что послал что-то на одну из студий. Хотел немного подзаработать. Не для себя – он хоть и потерял почти все, что у него когда-то было, но на жизнь ему хватало. Нет, ему нужны были деньги, чтобы посылать в Европу. Он был женат на немецкой девушке – давно, еще перед

Первой мировой войной. Потом они развелись, и она с ребенком осталась в Германии. А теперь в живых осталась одна внучка. Мистер Тэллис хотел, чтобы она приехала сюда, но в Вашингтоне не разрешили. Поэтому ему оставалось лишь послать ей побольше денег, чтобы она могла нормально питаться и закончить учение. Вот он и написал для кино эту штуку.

Ее слова вдруг напомнили мне эпизод из сценария Тэллиса – что-то о детях послевоенной Европы, продававших себя за плитку шоколада. Не была ли его внучка одной из таких девочек? «Ich давать тебе Schokolade, du давать мне Liebe[4 - Я… шоколад, ты… любовь (нем.).]. Поняла?» Они понимали прекрасно. Плитка до и две после.

– А что случилось с его женой? И с родителями внучки? – спросил я.

– Они оставили нас, – ответила м-с Коултон. – Кажется, они были евреи или что-то в этом роде.

– Заметьте, – внезапно вмешался гном, – я не против евреев. Но все же… – Он помолчал. – Может, Гитлер был не такой уж болван.

Я понял, что на сей раз он вынес вердикт всяческим возмутителям спокойствия.

Из кухни снова послышался взрыв детского веселья. Шестнадцатилетняя леди Гамильтон смеялась так, словно ей было лет одиннадцать. А между тем насколько точно выверен и технически совершенен был взгляд, которым она встретила Боба! Сильнее всего в Рози настораживало, конечно, то, что она была невинной и одновременно искушенной, расчетливой искательницей приключений и вместе с тем школьницей с косичками.

– Он женился вторично, – продолжала пожилая леди, не обращая внимания ни на хихиканье, ни на антисемитизм. – На актрисе. Он мне говорил, как ее звали, да я позабыла. Но это продолжалось недолго. Она сбежала с каким-то типом. И правильно, я считаю, раз у него осталась жена в Германии. Не нравится мне, когда разводятся да выходят за чужих мужей.

Наступило молчание; я мысленно пытался представить биографию мистера Тэллиса, которого в жизни не видел. Молодой человек из Новой Англии. Из хорошей семьи, образован неплохо, но без педантичности. Одарен, но не

настолько, чтобы променять досужую жизнь на тяготы профессионального писательства. Из Гарварда отправился в Европу, вел приятную жизнь, везде знакомился с самыми интересными людьми. А потом в Мюнхене – я в этом убежден – он влюбился. Мысленно я представил себе девушку в немецком эквиваленте одежд статуи Свободы – дочь какого-нибудь преуспевающего художника либо покровителя искусств. Одно из тех почти бесплотных созданий, которые были зыбким продуктом вильгельмовского благосостояния и культуры; существо, одновременно неуверенное и впечатлительное, очаровательно непредсказуемое и убийственно идеалистическое, tief[5 - Глубокое (нем.).] и немецкое. Тэллис влюбился, женился, несмотря на холодность жены, произвел ребенка и едва не задохнулся в гнетущей душевности домашней атмосферы. Какими свежими и здоровыми в сравнении с этим показались ему воздух Парижа и окружение молодой бродвейской актрисы, которую он встретил, приехав туда отдохнуть.

La belle Americaine,

Qui rend les hommes fous,

Dans deux ou trois semaines

Partira pour Corfou[6 - Влюбленных до истерики Мужчин намучив всласть, Красотка из Америки На Корфу собралась (фр.).].

Но эта не уехала на Корфу, а если и уехала, то в обществе Тэллиса. И она не была ни холодной, ни зыбкой, ни неуверенной, ни впечатлительной, ни глубокой, ни душевной; снобизма от искусства в ней тоже не было. К несчастью, она была до некоторой степени сукой. И с годами степень эта все росла. К тому времени, как Тэллис с нею развелся, она превратилась в суку окончательно.

Оглянувшись назад с выгодной позиции 1947 года, придуманный мною Тэллис мог весьма отчетливо увидеть все, что он наделал: ради физического удовольствия, сопровождавшегося возбуждением и исполнением эротических мечтаний, обрек жену и дочь на смерть от руки маньяков, а внучку – на ласки первого попавшегося солдата или спекулянта с полными карманами леденцов либо способного прилично накормить.

Романтические фантазии! Я повернулся к м-с Коултон.

– Жаль, что я его не знал, – проговорил я.

– Он вам понравился бы, – убежденно ответила она. – Мистер Тэллис нам всем нравился. Я хочу вам кое-что сказать, продолжала она. – Всякий раз, когда я езжу в Ланкастер, в дамский бридж-клуб, я захожу на кладбище навестить его.

– И я уверен, что это ему противно, – добавил гном.

– Но, Элмер! – протестующе воскликнула его жена.

– Да я же слышал, как мистер Тэллис сам говорил об этом, – не сдавался мистер Коултон. – И не раз. «Если я умру здесь, – говорил он, – то пусть меня схоронят в пустыне».

– То же самое он написал в сценарии, который прислал на студию, – подтвердил я.

– Правда? – В голосе м-с Коултон послышалось явное недоверие.

– Да, он даже описал могилу, в какой хотел бы лежать. Одинокую могилу под юккой.

– Я мог бы ему объяснить, что это незаконно, – вставил гном. – С тех пор как владельцы похоронных контор протащили в Сакраменто свое предложение. Я знаю случай, когда человека пришлось выкопать через двадцать лет после того, как его похоронили за теми холмами. – Он махнул рукой в сторону гойевских ящеровидных крыс. – Чтобы все уладить, племяннику пришлось выложить триста долларов.

При этом воспоминании гном хихикнул.

– А вот я не хочу, чтобы меня хоронили в пустыне, – категорично заявила его жена.

– Почему?

– Слишком одиноко, – ответила она. – Просто ужасно.

Пока я раздумывал, о чем говорить дальше, по лестнице с пеленкой в руке спустилась бледная юная мать. На секунду остановившись, она заглянула в кухню.

– Послушай-ка, Рози, – проговорила она низким сердитым голосом, – теперь тебе неплохо бы для разнообразия поработать.

С этими словами она отвернулась и направилась в прихожую, где через открытую дверь виднелись все удобства ванной комнаты.

– Опять у него понос, – проходя мимо бабки, с горечью констатировала она.

Раскрасневшаяся, с горящими глазами, будущая леди Гамильтон вышла из кухни. За нею в дверном проеме показался будущий Гамильтон, который изо всех сил пытался представить себе, как он станет лордом Нельсоном.

– Бабуля, мистер Бриггз считает, что сможет устроить мне кинопробу, – сообщила девушка.

Вот идиот! Я встал.

– Нам пора, Боб, – сказал я, понимая, что уже слишком поздно.

Через приоткрытую дверь из ванной доносилось хлюпанье стираемых в тазу пеленок.

– Слушай, – шепнул я Бобу, когда мы проходили мимо.

– Что слушать? – удивился он.

Я пожал плечами. У них есть уши, а не слышат.

Таким образом, в тот раз мы ближе всего подобрались к Тэллису во плоти. В том, что написано ниже, читатель найдет отражение его мыслей. Я публикую текст «Обезьяны и сущности» таким, каким он ко мне попал, без каких бы то ни было переделок и комментариев.

II

Сценарий

Титры; в конце – под аккомпанемент труб и хора ликующих ангелов имя ПРОДЮСЕРА.

Музыка меняется; и если бы Дебюсси был жив, он сделал бы ее невероятно утонченной, аристократичной, начисто лишив вагнеровской похотливости и развязности, равно как штраусовской вульгарности. Дело в том, что на экране – предрассветный час, причем снятый не на «Техниколоре», а на кое-чем получше. Кажется, ночь замешкалась во мраке почти гладкого моря, однако по краям неба прозрачно-бледная зелень – чем ближе к зениту, тем голубее. На востоке еще видна утренняя звезда.

Рассказчик

Невыразимая красота, непостижимый покой…

Но, увы, на нашем экране

Этот символ символов,

Наверное, будет похож

На иллюстрацию миссис Имярек

К стихотворению Эллы

Уилер Уилкокс.

Из всего высокого, что есть в природе,

Искусство слишком часто производит

Только смешное.

Но нужно идти на риск,

Потому что вам, сидящим в зале,

Как угодно, любою ценой,

Ценою стишков Уилкокс или еще похуже,

Как-то нужно напомнить,

Вас нужно заставить вспомнить,

Вас нужно умолить, чтобы вы захотели

Понять, что есть что.

* * *

По мере того как Рассказчик говорит, символ символов вечности постепенно исчезает, и на экране появляется переполненный зал роскошного кинотеатра. Свет становится ярче, и мы вдруг видим, что зрители – это хорошо одетые бабуины обоих полов и всех возрастов, от детей до впавших в детство.

Рассказчик

Но человек –

Гордец с недолгой и непрочной властью –

Не знает и того, в чем убежден.

Безлика его сущность перед небом,

Она так корчит рожи обезьяньи,

Что ангелы рыдают.

Новый кадр: обезьяны внимательно смотрят на экран. На фоне декораций, какие способны выдумать только Семирамида или «Метро-Голдвин-Майер», мы видим полногрудую молодую бабуинку в перламутровом вечернем платье, с ярко накрашенными губами, мордой, напудренной лиловой пудрой, и горящими, подведенными черной тушью глазами. Сладострастно покачиваясь – насколько позволяют ей короткие ноги, – она выходит на ярко освещенную сцену ночного

клуба и под аплодисменты нескольких сотен пар волосатых рук приближается к микрофону в стиле Людовика XV. За ней на легкой стальной цепочке, прикрепленной к собачьему ошейнику, выходит на четвереньках Майкл Фарадей.

Рассказчик

«Не знает и того, в чем убежден…» Едва ли следует добавлять: то, что мы называем знанием, – лишь другая форма невежества, разумеется, высокоорганизованная, глубоко научная, но именно поэтому и более полная, более чреватая злобными обезьянами. Когда невежество было просто невежеством, мы уподоблялись лемурам, мартышкам и ревунам. Сегодня же благодаря нашему знанию – высшему невежеству – человек возвысился до такой степени, что самый последний из нас – это бабуин, а самый великий – орангутан или, если он возвел себя в ранг спасителя общества, даже самая настоящая горилла.

Юная бабуинка тем временем дошла до микрофона. Обернувшись, она замечает, что Фарадей стоит на коленях, пытаясь распрямить согнутую ноющую спину.

– Место, сэр, место!

Тон у нее повелительный; она наносит старику удар своим хлыстом с коралловой ручкой. Фарадей отшатывается и опять опускается на четвереньки; публика в зале радостно хохочет. Бабуинка посылает ей воздушный поцелуй, затем, подвинув микрофон поближе, обнажает свои громадные зубы и альковным контральто начинает с придыханием самоновейший шлягер.

Любовь, любовь, любовь,

Любовь, ты – квинтэссенция

Всего, о чем я думаю, что совершаю я.

Хочу, хочу, хочу,

Хочу детумесценции,

Хочу тебя.

Крупный план: лицо Фарадея, на котором последовательно появляются изумление, отвращение, негодование и, наконец, такие стыд и мука, что по морщинистым щекам начинают катиться слезы.

Монтажная композиция: кадры, изображающие радиослушателей в Земле Радиофицированной.

Полная бабуинка-домохозяйка жарит колбасу, а динамик дарит ей воображаемое исполнение и реальное обострение самых сокровенных ее желаний.

Маленький бабуинчик встает в кроватке, достает с комода портативный радиоприемник и настраивает его на обещание детумесценции.

Бабуин-финансист средних лет отрывается от биржевых бюллетеней и слушает: глаза закрыты, на губах экстатическая улыбка. Хочу, хочу, хочу, хочу.

Двое бабуинов-подростков неумело обнимаются под музыку в стоящей у обочины машине. «Хочу тебя-а». Рты и лапы крупным планом.

Снова кадры с плачущим Фарадеем. Певица оборачивается, замечает его искаженное лицо, в гневе вскрикивает и принимается бить старика: один жестокий удар следует за другим; публика оглушительно рукоплещет. Золотые и яшмовые стены ночного клуба тают, и в течение нескольких секунд мы видим обезьяну и ее мудрого пленника на фоне рассветного полумрака первого эпизода. Затем фигуры постепенно исчезают, и перед нами остается лишь символ символов вечности.

Рассказчик

Море, яркая звезда, бескрайний кристалл неба – ну, конечно, вы их помните! Конечно! Неужели же вы забыли, неужели никогда так и не открыли для себя того, что лежит за пределами умственного зоосада, за пределами сумасшедшего дома, что внутри вас, за пределами всего этого Бродвея театриков воображения, в которых яркими огнями всегда горит лишь ваше имя?

Камера проходит по небу, и вот линию горизонта разрывает черный иззубренный силуэт скалистого острова. Мимо острова плывет большая четырехмачтовая шхуна. Камера приближается, и мы видим, что шхуна идет под новозеландским флагом и называется «Кентербери». Капитан и кучка пассажиров стоят у поручней, напряженно глядя на восток. Сквозь их бинокли нам видна линия голого побережья. И тут почти внезапно из-за силуэтов далеких гор встает солнце.

Рассказчик

Только что народившийся яркий день – это двадцатое февраля две тысячи сто восьмого года, а мужчины и женщины на палубе – это члены новозеландской экспедиции по вторичному открытию Северной Америки. Обойденная воюющими сторонами в третьей мировой войне – вряд ли нужно говорить, что не из соображений гуманности, а просто потому, что, так же как и Экваториальная Африка, она находилась слишком далеко, чтобы кто-нибудь стал тратить время на ее уничтожение, – Новая Зеландия выжила и даже скромненько процветала в своей изоляции, которая из-за опасного уровня радиоактивного заражения в остальных частях света была почти абсолютной в течение более ста лет. Теперь опасность миновала, и первые исследователи отправились вновь открывать Америку, но на этот раз с запада. А тем временем на другой стороне планеты чернокожие люди спустились по Нилу и пересекли Средиземное море. Как прекрасны ритуальные пляски в населенных летучими мышами залах Матери Парламентов! А лабиринты Ватикана – что за превосходное место для проведения долгих и замысловатых обрядов обрезания женщин! Мы всегда получаем именно то, что просим.

Экран темнеет, слышен гром орудийной пальбы. Когда свет загорается снова, позади группы бабуинов в мундирах, опустившись на корточки, сидит на привязи доктор Альберт Эйнштейн.

Камера движется по узкой полосе ничейной земли, усеянной камнями, сломанными деревьями и трупами, и останавливается на другой группе животных – с другими знаками отличия и под другим флагом, однако с таким же доктором Альбертом Эйнштейном, на такой же привязи, точно так же сидящим на корточках подле их высоченных сапог. Под взъерошенными волосами на

добром, наивном лице выражение болезненного смущения. Камера перемещается туда и обратно, от одного Эйнштейна к другому. Крупный план: два одинаковых лица уставились друг на друга сквозь частокол начищенных кожаных сапог своих хозяев.

На звуковой дорожке голос, саксофоны и виолончели дружно тоскуют по детумесценции.

– Это ты, Альберт? – неуверенно спрашивает один из Эйнштейнов.

Другой медленно кивает:

– Боюсь, что да, Альберт.

Внезапный ветер полощет в небе флаги враждующих армий. Цветные узоры на флагах раскрываются, затем флаги опять сворачиваются, вновь разворачиваются и опять свертываются.

Рассказчик

Вертикальные полосы, горизонтальные полосы, крестики и нолики, орлы и молоты. Чисто условные знаки. Но всякая реальность, если к ней привязан знак, уже зависит от своего знака. Госвами и Али жили мирно. Но у меня есть флаг, у тебя есть флаг, у всех бабуино-божественных детей есть флаги. Даже Али и Госвами имеют флаги, и вот благодаря этому оправдывается многое: например, тот, у кого есть крайняя плоть, выпускает кишки тому, у кого ее нет, обрезанец стреляет в необрезанца, насилует его жену и поджаривает его детей на медленном огне.

Но тем временем над флагами плывут громады облаков, за облаками – голубая пустота, символ нашей безликой сущности, а у основания флагштока растет пшеница, и изумрудный рис, и просо. Хлеб для плоти и хлеб для духа. Нам нужно сделать выбор между хлебом и флагами. И вряд ли нужно добавлять, что мы почти единодушно выбираем флаги.

Камера опускается от флагов к Эйнштейнам, а с них переходит на обильно украшенных знаками отличия генштабистов на заднем плане. Неожиданно оба фельдмаршалиссимуса одновременно подают какую-то команду. Мгновенно с обеих сторон появляются бабуины-техники с моторизованными аэрозольными установками. На баках с аэрозолем одной армии написано слово «Супертуляремия», на баках противника – «Сап повышенного качества, 99,44 % чистоты гарантируется». У каждой группы техников с собой талисман – Луи Пастер на цепочке. Звуковая дорожка напоминает о девушке-бабуинке: «Хочу, хочу, хочу, хочу детумесценции…» Вскоре эти сладострастные напевы переходят в мелодию «Земля надежды и славы», исполняемую сводным духовым оркестром и четырнадцатитысячным хором.

Рассказчик

Что за земля, ты спросишь? Я отвечу:

Любая старая земля.

И слава, ясно, Обезьяньему Царю.

Что ж до надежды,

Ее – будь счастливо твое сердечко – нет вообще,

Есть лишь катастрофически большая вероятность

Внезапного конца

Или мучительнейшей, дюйм за дюймом,

Последней и неисцелимой

Детумесценции.

Крупный план: лапы и вентили; затем камера отъезжает. Из баков вырываются клубы желтого дыма и лениво ползут по ничейной земле навстречу друг другу.

Рассказчик

Сап, друзья мои, сап – болезнь лошадиная, у людей встречается редко. Но не бойтесь: наука легко может превратить ее в болезнь универсальную. А вот и ее

симптомы. Дикие боли во всех суставах. Гнойники по телу. Под кожей – твердые узелки, которые в конце концов прорываются и превращаются в шелушащиеся язвы. Тем временем воспаляется слизистая оболочка носа, откуда начинает обильно выделяться зловонный гной. В ноздрях вскоре образуются язвы, которые поражают окружающие кости и хрящи. С носа инфекция переходит на глаза, рот, глотку и бронхиальное дерево. Через три недели большинство больных умирает. Позаботиться о том, чтобы умирали все поголовно, было поручено группе блестящих молодых докторов наук, которые служат сейчас вашему правительству. И не только ему, а всем другим, избранным или самолично назначившим себя организаторами всемирной коллективной шизофрении. Биологи, патологи, физиологи – вот они идут домой, к семьям, после тяжелого трудового дня в лабораториях. Объятия сладкой женушки, возня с детками. Спокойный обед с друзьями, затем вечер камерной музыки, а может, умный разговор о политике или философии. В одиннадцать – постель и привычный экстаз супружеской любви. А утром, после апельсинового сока и овсяных хлопьев, они опять спешат на службу – выяснять, каким образом еще большее число семей, таких же как их собственные, можно отравить еще более смертоносным штаммом bacillus mallei[7 - Бациллы сапа (лат.).].

Маршалиссимусы снова выкрикивают команду. Обезьяны в сапогах, отвечающие за запас гениев в каждой армии, резко щелкают бичами и дергают за сворки.

Крупный план: Эйнштейны пробуют сопротивляться.

– Нет, нет… не могу. Говорю же, не могу.

– Предатель!

– Где твой патриотизм?

– Грязный коммунист!

– Вонючий буржуа! Фашист!

– Красный империалист!

– Капиталист-монополист!

– Получай же!

– Получай!

Избитых, исполосованных плетьми, полузадушенных Эйнштейнов подтаскивают наконец к неким подобиям караульных будок. Внутри будок – приборные панели с циферблатами, кнопками и тумблерами.

Рассказчик

Но это ж ясно.

Это знает каждый школьник.

Цель обезьяной выбрана, лишь средства – человеком.

Кормилец Papio и бабуинский содержанец,

Несется к нам на все готовый разум.

Он здесь, воняя философией, тиранам славословит;

Здесь Пруссии клеврет, с общедоступной «Историей»

Гегеля под мышкой;

Здесь, с медициной вместе, готов ввести гормоны

половые от Обезьяньего Царя.

Он здесь, с риторикою вместе: слагает вирши он,

она их следом пишет,

Здесь, с математикою вместе, готов направить

все свои ракеты

На дом сиротский, что за океаном;

Он здесь – уже нацелился, и фимиам курит

благочестиво,

И ждет, что Богородица скомандует: «Огонь!»

Духовой оркестр уступает место самому заунывному из «Вурлитцеров», вместо «Земли надежды и славы» звучит «Христово воинство». В сопровождении его высокопреподобия настоятеля и капитула величественно шествует его преосвященство бабуин-епископ Бронкса, держа посох в унизанной перстнями лапе; он собирается благословить обоих фельдмаршалиссимусов на их патриотические начинания.

Рассказчик

Церковь и государство,

Алчность и коварство –

Два бабуина в одной верховной горилле.

Omnes[8 - Все (лат.).]

Аминь, аминь.

Епископ

In nominem Babuini[9 - Во имя Бабуина (лат.).].

На звуковой дорожке звучит лишь vox humana[10 - Человеческий голос (лат.).] и ангельские голоса певчих.

«Крест (dim) святой (pp) нас в битву (ff) за собой ведет».

Огромные лапы ставят Эйнштейнов на ноги; крупным планом камера показывает, как эти лапы сжимают кисти ученых. Пальцы, которые писали уравнения и исполняли музыку Иоганна Себастьяна Баха, направляемые

обезьянами, хватаются за рукояти рубильников и с ужасом и отвращением опускают их вниз. Слышен негромкий щелчок, затем надолго наступает тишина, которую в конце концов прерывает голос Рассказчика.

Рассказчик

Даже реактивным снарядам, летящим со сверхзвуковой скоростью, требуется определенное время, чтобы достичь цели. Давайте-ка поэтому перекусим, ребята, в ожидании Судного дня!

Обезьяны открывают ранцы, швыряют Эйнштейнам по куску хлеба, несколько морковок и кусочков сахара, а сами наваливаются на ром и копченую колбасу.

Наплыв: палуба шхуны, ученые экспедиции тоже завтракают.

Рассказчик

Это – некоторые из переживших Судный день. Что за милые люди! И цивилизация, которую они представляют, тоже милая. Конечно, ничего особенно захватывающего и эффектного. Ни Парфенонов или Сикстинских капелл, ни Ньютонов, Моцартов и Шекспиров, но зато ни Эццелино, ни Наполеонов, Гитлеров и Джеев Гулдов, ни инквизиции и НКВД, ни чисток, ни погромов, ни судов Линча. Ни высот, ни бездн, но зато вдоволь молока для детей, сравнительно высокий интеллектуальный коэффициент и все прочее – спокойно, провинциально, весьма уютно, разумно и гуманно.

Один из стоящих на палубе подносит к глазам бинокль и всматривается в берег, до которого всего мили две. Внезапно у него вырывается радостное и удивленное восклицание.

– Взгляните-ка! – Он передает бинокль одному из спутников. – Там, на гребне холма.

Тот смотрит.

Крупный план: низкие холмы. На верхушке одного из них на фоне неба вырисовываются три нефтяные вышки, словно оборудование модернизированной Голгофы повышенной производительности.

– Нефть! – возбужденно восклицает второй наблюдатель. – И вышки еще стоят.

– Еще стоят?

Общее изумление.

– Это означает, – говорит старый геолог профессор Крейги, – что взрывов здесь практически не было.

– Взрывы совершенно не обязательны, – объясняет его коллега с кафедры ядерной физики. – Радиоактивное заражение действует не хуже и на гораздо больших площадях.

– Вы, похоже, забыли о бактериях и вирусах, – вступает в разговор биолог профессор Грэмпиен. Он говорит тоном человека, который почувствовал себя ущемленным.

Его молодая жена – она всего-навсего антрополог и не может поэтому внести в спор свою лепту – ограничивается тем, что бросает на физика злобный взгляд.

Ботаник мисс Этель Хук, которой твидовый костюм придает весьма спортивный, а очки в роговой оправе – весьма интеллигентный вид, напоминает, что тут почти наверняка и в больших масштабах имело место заражение растений. За подтверждением она оборачивается к своему коллеге доктору Пулу; тот одобрительно кивает.

– Болезни продовольственных культур, – наставительно сообщает он, – должны быть рассчитаны на длительный эффект, едва ли менее серьезный, нежели эффект, производимый расщепляемыми веществами или искусственными пандемиями. Возьмем, к примеру, картофель…

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Иначе я не могу (нем.). – Здесь и далее примеч. пер.

2

Павиан (лат.).

3

Крошка Морфиль (фр.).

4

Я… шоколад, ты… любовь (нем.).

5

Глубокое (нем.).

6

Влюбленных до истерики Мужчин намучив всласть, Красотка из Америки На Корфу собралась (фр.).

7

Бациллы сапа (лат.).

8

Все (лат.).

9

Во имя Бабуина (лат.).

10

Человеческий голос (лат.).

Купить: https://tellnovel.com/oldos-haksli/obezyana-i-suschnost-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити